



М. ВИШНЯК

З. Н. Гиппиус в письмах

Поэт, драматург, романист, литературный критик, публицист, если хотите, политик, — таков послужной список Зинаиды Николаевны Гиппиус-Мережковской. Он сделал бы честь не одному человеку, тем более женщине, начавшей писать в 80-х годах прошлого столетия.

В иерархии литературного творчества вершиной — даже выше драматургии — принято считать поэзию. За последние примерно четыре десятилетия Гиппиус странным образом отдавала предпочтение политике и публицистике перед поэзией. Несмотря на все политические неудачи, постигавшие и лично З. Н., и ее окружение, политика неизменно влекла ее к себе. И до самой своей кончины не переставала она политически метаться из стороны в сторону, меняя, иногда на протяжении месяцев, героев своих политических увлечений, но неустанно возвращаясь к своей неистребимой «страсти».

В вопросах общего, или «миросозерцательного», порядка Гиппиус светила отраженным светом, падавшим на нее от Д. С. Мережковского, тоже поэта, литературоведа и мыслителя-эрудита. Многолетний секретарь Мережковских В. А. Злобин утверждает, что Гиппиус была и зачинательницей идей и планов, которые с изумительной чуткостью воспринимал и разрабатывал Мережковский. Кто бы ни был инициатором и творцом связанной с именем Мережковского религиозной мистики, — Гиппиус сводила эту мистику с заоблачных высот на землю, связывая отвлеченные размышления со злобами дня и популяризируя их в периодической печати.

З. Н. Гиппиус пользовалась всероссийской известностью. У нее бывало множество поклонников ее таланта, в разное время разных, и, как оказалось, — до невероятия мало верных друзей. Одним она изменила. Другие, как она была убеждена, изменили

ей. По своенравной своей натуре З. Н. неспособна была подчиняться или следовать чьему-либо руководству. Но и за собой она не умела вести. Почти все единомышленники в философской, литературной, политической областях отошли от Мережковских раньше или позже. Редко кто просто отстранялся. Чаще отходили с возмущением, а то и с проклятиями. Достаточно вспомнить Блока, Белого, Ходасевича.

За ум и острое, жалающее перо Гиппиус сравнивали со змием и даже с вульгарной «змеей подколодной». Гумилев называл ее «больной жемчужиной». Ремизов — «вся в костях и пружинах, устройство сложное, но к живому человеку никак». Петербургские иерархи называли «белой дьяволицей». Даже друзья, сохранившие верность, по свидетельству Злобина, — «ведьмой». А Белый живописал ее, как «епископессу, благословлявшую собравшихся лорнеткой и миропомазывавшую перчаткой».

На замечательном портрете Льва Бакста молодая Гиппиус — в мужском костюме с заложенными в карманы руками, рукава окаймлены кружевными манжетами, а ноги, изящные, тонкие, длинные, перекинуты одна на другую. Полуоткинувшись и склонив голову, с кокетливым задором взирает она на мир прищуренными близорукими глазами. Это Гиппиус первых десятилетий своей деятельности, «вяще изломившаяся» символика и декадентка, приятельница Брюсова, Минского и Волынского, жрица чистого искусства, не считающаяся ни с какими предрасудками и ни с чьим самолюбием. Это эпоха крайнего самоутверждения: «Люблю себя, как Бога» и «Хочу того, чего нет на свете».

О Гиппиус этого периода написано уже немало и будет написано, конечно, еще больше. Моя тема более ограничена и специальна. При всей бесспорности Гиппиус-поэта, который останется в истории русской поэзии, имеется еще жанр литературы, который, по мнению многих, в том числе поэтов и литературных критиков, является высшим достижением в многообразном и разнохарактерном творчестве Гиппиус. Это — ее эпистолярное творчество. Г. Адамович утверждает: «Рано или поздно станет общепризнанной истиной, что отчетливее, сильнее всего талант З. Гиппиус, “единственность” ее личности, — как выразился в дневнике своем Блок, — запечатлены не в стихах, не в рассказах, не в статьях, а в частных ее письмах».

Так случилось, что в течение 15 лет, с 1923-го по 37-й год, я оказался в числе адресатов и корреспондентов З. Н. Наша переписка — деловая, политическая и личная — связана с сотрудничеством Гиппиус в «Современных Записках» и моим положе-

нием в журнале: одного из редакторов, выполнявшего и обязанности секретаря редакции. Ничего сенсационного письма З. Н. в себе не заключают. Но они характеризуют эпистолярный стиль и вкус Гиппиус и тем самым характеризуют ее как человека и «политика» со всеми капризными переходами от серьезного и глубокого к по-женски мелочным, раздраженным и даже оскорбительным нападкам и уверткам. Кое-что в этих письмах представляет интерес и для общего познания эпохи и литературного быта русской эмиграции в Париже 1920-х и 30-х годов. Нелишним будет предпослать краткое описание знакомства с З. Н. Гиппиус и общей обстановки, в которой переписка возникла и протекала.

* * *

В первый раз я встретил З. Н. Гиппиус, в сопровождении Д. С. Мережковского и Д. В. Философова, в конце 1911 года у моих близких друзей Фондаминских, когда я попал из Нарымского края в Париж. Знаменитое трио показалось мне не слишком привлекательным. Один только Философов — эффектной внешности, большой культуры и отличного воспитания — держал себя просто. Но он был на положении «второй скрипки». Первую роль играли Мережковские, которые не говорили, а вещали, не беседовали, а громили и пророчествовали, ни с кем не соглашаясь и оспаривая даже друг друга. Явственно звучало, что они не как все прочие, а особенные — из другого мира, если не вне сего мира. К окружающим они снисходили, нисколько того не маскируя и как бы только жалея о потерянном зря времени.

Это не значит, что Мережковских другие не интересовали. Они интересовались многим и разным. Мне пришлось быть свидетелем живейшего интереса, проявленного Гиппиус к только что бежавшей с каторги террористке Мане Школьник. Она бросила бомбу в черниговского губернатора Хвостова и была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Пять лет спустя Школьник удалось бежать и по пути из Сибири в Америку она очутилась в парижской гостинице Фондаминских.

Вскинув лорнетку на черной ленточке и наводя на Школьник близорукий глаз, З. Н. томоно вопрошала:

— Скажите, а как теперь вы за террор или против него?

Это был интерес небожителя к антропоиду или к существу с другой планеты. Непривыкшая к дискурсивному мышлению террористка оробела и пыталась уклониться от ответа на мучи-

тельный вопрос. Не тут-то было: изысканная поэтесса продолжала наседать на экзотическую для нее разновидность тоже-человека. Впечатление осталось тягостное.

Вернувшись из-за границы в Петербург, Мережковские стали все активнее интересоваться политикой, особенно когда началась война. Ближе к 17-му году они стали неким «центром», вокруг которого скоплялись и вращались люди, вести, слухи, сплетни, которыми жил предреволюционный Петроград. Здесь обменивались мнениями и спорили, ставили прогнозы и строили планы, — и все это с большей или меньшей точностью заносила в свой дневник * любезная хозяйка. Если судить по опубликованым Гиппиус «Черной» и «Синей» книгам, автор считал, что, влияя на своих собеседников, он тоже делал политику. При мимолетном моем посещении «салона» Гиппиус, весной 17-го года превратившегося в своего рода проходной пассаж для всех, я такого впечатления не вынес, — ни от самой хозяйки, ни от ее посетителей.

Когда началась Первая мировая война, Гиппиус была против нее: против «православного патриотизма» и «аксаковской славянофильщины», за «антинационализм». Не прошло, однако, и полугода, и в первой половине 15-го года Гиппиус была уже за успешное продолжение и окончание войны — на свой лад. Она ни с «правыми», ни с «средними», ни с «левыми» — «ни Дурново, ни Милюков, ни Чхеидзе»; она за «революционно-творческое начало» в отличие от эволюционно-творческого и революционно-разрушительного. В будущем она назовет это «Честным центром», или «Третьим путем».

До конца дней своих Гиппиус оставалась при убеждении, что не она изменяла своим политическим идеям и друзьям, а эти последние изменяли своим взглядам и тем самым ей.

Пусть это мне и не в заслугу,
Но я Любви не предавал,
Ни Ей, — ни женщине, ни другу
Я никогда не изменял.

В действительности же Гиппиус политически изменяла Струве ради Милюкова с Философовым, им ради Керенского и «предавала» Керенского Савинкову и Корнилову, чтобы несколько лет спустя проделать тот же путь в обратном направлении: от

* Дружившая с Гиппиус в последние годы жизни Тэффи утверждала, что «предсказания» записывались Гиппиус в дневник задним числом («Новое Русское Слово» от 12 марта 1950 г.).

Савинкова к Милюкову и Керенскому. Об одном и том же политическом деятеле на страницах дневника Гиппиус можно встретить: он — «единственный», «гениальный интуит», «я в него верю; лишь бы ему не мешали», а 50 страницами дальше: он — «вагон, сошедший с рельс, вихляет, качается, болезненно и без красоты малейшей».

Вновь встретил я З. Н. Гиппиус в эмиграции, в начале 20-х годов. Мережковские появились на парижском горизонте уже потрепанными — с опаленными политическими крыльями. На пути из советской России первым их этапом была Варшава. И в правителе Польши Пилсудском Мережковские узрели тройственный лик совершенства, воплощенную мудрость, подвиг и красоту и даже — «дух Божий». К этому времени Гиппиус опубликовала в «Русской Мысли» П. Б. Струве и свою «Черную книгу». В ней совершенно отчетливо проступали юдофобство и проклятия тому, что автор сам благословлял раньше — в пятом и семнадцатом годах. Писания Гиппиус были исполнены жгучей ненавистью «ко всяким евреям и еврейкам», а не только к «Бронштейнам и Нахамкесам». И не только большевики, но и правые эс-эры или левые кадеты, — все одинаково вызвали негодование Гиппиус, продолжавшей себя одну считать правой и в прошлом и в настоящем.

Естественно, что от Мережковских отвернулись многие даже из бывших друзей. Либеральные круги эмиграции встретили Мережковских с опаской. Радикальный Париж отнесся к ним недружелюбно, даже враждебно. Одно время они были почти изолированы от всех, кроме немногочисленных друзей. Милюков не сразу согласился дать место бывшей сотруднице «Речи» на столбцах редактируемых им «Последних Новостей». И когда Гиппиус начала там печататься, она недолго удержалась и вынуждена была из «Последних Новостей» перейти в гукасовское «Возрождение».

И в «Современные Записки» Мережковские попали не сразу. Им помогло настойчивое предстательство их давнего и верного друга И. И. Бунакова-Фондаминского, одного из редакторов журнала. И главное, обязательство, взятое на себя «Совр. Записками» и напечатанное в первом же номере журнала. «От редакции» заявлялось, что журнал открывает свои страницы «для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры». Мы подчеркивали, что «границы суждения авторов должны быть особо широки (именно) теперь, когда нет ни одной идеологии,

которая не нуждалась бы в критической проверке при свете совершающихся грозных мировых событий».

Началось с «чистой поэзии»: в 10-й и последующих 15 книжках «Совр. Зап.» напечатаны были политически «невинные» стихи Гиппиус. В 15-й книжке появилось в «Совр. Зап.» и имя Мережковского. И с того времени редкая книга журнала не включала произведений Гиппиус или Мережковского, а то и их обоих. Почти все литературно-философское творчество Мережковского тех лет, не целиком, конечно, прошло через наш журнал. В 18 книжках журнала появились: «Тайная мудрость Востока» (Вавилон), «Рождение Богов» (Тутанкамон на Крите), «Мессия», «Наполеон-человек», «Атлантида», «Отчего погибла Атлантида», «Назаретские будни», «Царство Божие», «Коммунизм Божественный». По мнению некоторых критиков и почитателей Мережковского, эти произведения являются вершиной его творчества. Большинство членов редакции «Совр. Зап.», и я в их числе, держались обратного мнения. Тем не менее мы его печатали — и в гораздо больших размерах, чем того хотели. Дорожа сотрудничеством Гиппиус, мы были вынуждены брать и Мережковского, как и в другом случае, — чтобы не оттолкнуть ценного для журнала сотрудника, приходилось принимать к напечатанию не всегда полноценные произведения его супруги. Это был один из многих компромиссов, на которые приходилось идти. Редакция обязывала своего сочлена Фондаминского напрячь все его дипломатическое искусство и личный шарм, чтобы, по возможности не задевая самолюбия Мережковского, свести все же к минимуму публикацию его бесконечных, все тех же религиозно-философских аналогий и мнимо-исторических параллелей.

Иначе обстояло дело с Гиппиус. Ее сотрудничество представляло несравненно более живой интерес и ценность. Темы, которые она брала, были почти всегда актуальны. Даже говоря о прошлом, она связывала его с современным. И писала она отличным, образным языком. Острие ее пера обыкновенно направлялось не только против оспариваемых ею отвлеченных идей, но и против тех, кто олицетворял или защищал эти идеи. Помимо стихотворений и рецензий, Гиппиус дала журналу ряд литературных, публицистических и философских статей. Были напечатаны и две ее «Литературные Записи» за подписью Антона Крайнего.

Одновременно Мережковские печатались в «Последних Новостях», «Возрождении», «Новой России» (под редакцией А. Ф. Керенского), в журнале «Числа» и в собственном журнальчике

«Новый Корабль». Изредка выпускали и отдельные книги. Справедлива ли после этого жалоба, которую заявляет З. Н. Гиппиус в своей посмертной книге «Д. С. Мережковский»: * «Мы были так же нежелательны и неприемлемы для эмигрантской прессы, как юный Мережковский для тогдашней прессы русской. Д. С. почти ничего (?! — М. В.) не печатал в эмигрантских журналах и газетах, а писал очень много... Я тоже издала две книги в Праге, одну в Берлине, одну в Белграде, а как журналист — давно перестала существовать (?! — М. В.)». В этой тираде верно лишь то, что не все, написанное Мережковским в 20-х и 30-х гг., увидело свет. Главная причина лежала в общей скудости литературных возможностей и средств эмиграции. Но, конечно, играло роль и то, что не все, что Мережковские писали, было приемлемо для тех изданий, для которых они предназначали свои писания.

В публикуемых ниже письмах читатель найдет отражение эпизода, доставившего много огорчений и осложнений руководителям «Соврем. Записок», равно как и самой Гиппиус. В первой же «Литературной Записи» Антон Крайний крайне резко и неудачно отозвался о Максиме Горьком, как «изъятеле» всяческих ценностей. Это был конец 24-го года, когда Горький, вместе с нами и Гиппиус, находился еще в эмиграции и был далек — во времени и в мыслях — от «триумфального» посещения Беломорского канала с восхвалением чекистов-палачей как якобы мучеников, «осужденных историей убивать одних для свободы других». На Антона Крайнего и редакцию журнала посыпались с разных сторон нападки по двоякого рода основаниям: за контрабандный провоз политики под флагом культуры, как доказывал Милюков, и за то, что в «Соврем. Записках» создан «Ноев литературный ковчег». В прежние времена «где печатался Горький или Бунин, там невозможен был Антон Крайний, и обратно», — заявлял в газете Милюкова Семен Юшкевич, упуская из виду, что кое-что с тех «блаженных» времен все же изменилось и, в частности, — уже давно «невозможен был» Бунин, где печатался Горький, и обратно.

Пройти мимо этих нападок «Соврем. Записки» не могли и, по поручению редакции, появилось в «Последних Новостях» за моей подписью объяснение-самооправдание-сожаление по поводу допущенного недосмотра. В том же номере газеты были напечатаны и необходимые поправки Антона Крайнего и более или менее примирительное послесловие П. Н. Милюкова. Инцидент этим был исчерпан. В очередной книге «Совр. Зап.» была напе-

* Точное название — «Дмитрий Мережковский» (Ред.).

чатана вторая «Запись» Антона Крайнего — о послереволюционных советских писателях. Она была и последней. Имя Антона Крайнего отныне появлялось лишь под рецензиями, и то всего трижды.

«Современным Запискам» бывало нелегко с З. Н. Гиппиус. Она была очень мнительна, подозрительна, иногда мелочна и придирчива, капризна и язвительна, постоянно обижалась — и нередко без всяких оснований. У меня сохранился ряд черновики, в которых редакторы журнала, каждый на свой лад, набрасывали проект письма к Гиппиус, в котором готовность дать удовлетворение даже неосновательной претензии сочеталась с желанием отстоять права и достоинство редакции.

Но и Гиппиус было нелегко сотрудничать в журнале, руководимом, по ее убеждению, пристрастными и недостаточно компетентными «партийцами». Ее затаенной мечтой было, конечно, постепенно «выпрямить» курс «Совр. Записок» и направить их по желательному для нее руслу. В редакции у нее был постоянный заступник и друг Фондаминский, и Гиппиус не раз пыталась «разыграть» его против редакции. Но это ей редко удавалось, так как Фондаминский не мог не считаться с «волей» редакции, т. е. большинства редакторов. С другой стороны, для Фондаминского этих лет «Современные Записки» были превыше всего: их интересам он подчинял не только личные отношения, но и справедливость в отношении к сотрудникам. Незаслуженно пострадала от этого и З. Н. Гиппиус.

Когда Бунин передал нам рукопись своей «Митиной любви», Гиппиус предложила написать о ней — не рецензию, а в общем виде, — очерк, посвященный «Искусству и любви». Это предложение было принято редакцией с полным сочувствием, и Гиппиус написала содержательную и интересную статью на предложенную ею тему. Она отдавала должное Бунину, как «воистину королю изобразительности». Сравнивала «Митину любовь» со «Страданиями молодого Вертера» Гете, но наряду с этим она отказывала бунинскому герою в праве называть свое чувство любовью, или «Эросом с его веянием нездешней радости». Гиппиус сближала чувство Мити в изображении Бунина с «гримасничающим Вожделением с белыми глазами».

Это было в общей линии оценки Мережковскими литературного творчества Бунина. Они считали его непревзойденным мастером в описании природы, людей и вещей, «описателем» — в отличие от писателей, которые, как Мережковские, о чем бы ни писали, не могут не касаться миров иных, смысла человеческого существования, мироздания, Бога. Очерк Гиппиус вызвал

в Фондаминском опасение, как бы Бунин, с его повышенной чувствительностью ко всем отзывам о нем и, в особенности, к отзыву Мережковских, не ощутил себя задетым и не порвал с «Соврем. Записками», которые лишились бы тем самым красоты и гордости своего беллетристического отдела.

С Гиппиус Фондаминский был очень близок и дружен, даже на ты, и, мастер на выдумки, он придумал *ad hoc** «теорию» о том, что будто бы «элементарная вежливость» требует, чтобы очерк Гиппиус был показан Бунину до того, как появится в печати. Гиппиус имела все основания возмутиться и отвергнуть эту «теорию». Но дальновидность Фондаминского была оправдана: недолюбивавший «мережковщины» как «декадентщины» и «чертовщины», Бунин вышел из себя и фактически наложил запрет на появление очерка Гиппиус. И этому запрету — теперь бы сказали «вето», — увы, подчинилась и редакция журнала, и сама Гиппиус, — давшая выход своим чувствам в частных разговорах и письмах.

В письмах ко мне, с которым Гиппиус приходилось чаще всего иметь дело, эти трудности — ее и наши — проступали постоянно. В деловую переписку вклиниваются политические разногласия и то и дело «выяснение личных отношений». На страницах «Соврем. Записок» мы не спорили. Но это происходило попутно и параллельно — в письмах и газетах. З. Н. опровергала и обличала на столбцах «Возрождения» коллективного или «символического Вишняка», а тот воздавал ей по делам ее на столбцах парижских «Дней». Полемика шла корректная, но не без яда. У меня сохранился один из фельетонов против Гиппиус, для которого был взят эпитафия из забытого стихотворения (1889 г.) Федора Сологуба:

Тогда последнего удара
Я равнодушно ожидал,
Но мой противник, злая мара,
Вдруг побледнел и задрожал.
Холодным тягостным туманом
Обоих нас он окружил,
И, трепеща скольльзящим станом,
Он, как змея, меня обвил.
Глаза туманит, грудь мне давит,
По капле кровь мою сосет,
Мне душно. Кто меня избавит?
Кто этот призрак рассечет?

(«Дни» от 4 мая 28 г.)

* Для этого (*лат.*).

Несмотря на все трудности, неприятности и обиды, которые З. Н. Гиппиус претерпевала от «Совр. Записок», журнал, видимо, оставил длительный и глубокий след в ее сознании. Присутствовавший при том, как З. Н. Гиппиус умирала, свидетельствует, что и через пять лет после того, как журнал приказал долго жить, и после всего пережитого Гиппиус — и миром — за время войны, она не раз перечитывала книги журнала. «Толстый том “Современных Записок”, который она, лежа после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук» — в тот самый момент, когда у нее отнимаются правая рука и нога...

* * *

Сказанным можно было бы и ограничиться, если бы не упоминавшаяся уже посмертная книга З. Н. Гиппиус о Д. С. Мережковском. Гиппиус писала о покойном, с которым прожила 52 года, не разлучаясь ни на один день, в 1943—44 гг., — незадолго до собственной смерти (9 сентября 45 г.). Она писала, конечно, со всей доступной ей искренностью и предельным приближением к своей правде. И в таком случае многое из того, *что* и *как* она писала в публикуемых ниже письмах, приобретает иной смысл и освещение, нежели те, которые они имели 17—30 лет тому назад.

Написанная в естественных думах о конце своего жизненного пути посмертная книга Гиппиус производит гнетущее впечатление: в ней нет почти ни одного доброжелательного слова ни по чьему адресу, если не считать, конечно, Мережковского и самого автора, хотя говорить «о себе в высшей степени неприятно — было и есть». Булгаков, Андрей Белый, Карташев, Дягилев, Керенский, даже Философов и Фондаминский, не исключая самого Владимира Соловьева, — все помянуты недобрым словом. И кем? Многолетней проповедницей «охристианизации земной плоти мира», религии «третьего завета» и «вселенского братства», автором стихотворения «Верность», посвященного И. И. Ф-му (Фондаминскому), где говорилось:

Но сердцем бедным, горько-равнодушным
Тебя — люблю, мой верный, навсегда.

В. Злобин свидетельствует, что «в кругу Мережковских» фраза — «когда однажды погибала Помпея, я завивала папилютки» — стала «классической». По прочтении посмертного произведения Гиппиус, можно прийти к заключению, что эта фраза точно соответствовала внутреннему отношению Гиппиус к миру

и людям. В предельной гордыне, без самого отдаленного намека на собственные грехи и заблуждения, — а сколько их было, тех и других, политических и иных, — Гиппиус кичится своей непримиримостью к большевизму, отталкиваясь от *всей* политической эмиграции: «Интеллигенты-эмигранты, войдя или не войдя в Церковь, будучи или не будучи масонами и евреями, все равно не могли с полной непримиримостью к советской власти относиться...»

Конечно, З. Н. Гиппиус писала свою книгу в состоянии некоторого аффекта, в одиночестве, может быть, еще более для нее нестерпимом, чем нищета. Она озлобилась на весь мир. Это не меняет, однако, положения. Перечитывая сейчас письма Гиппиус в свете — или тени — отброшенных заключительным этапом ее жизни и творчества, я не могу отрешиться от вывода, что мысли и чувства, нашедшие выражение в письмах, мало соответствуют подлинному ее отношению к адресату и предмету, к которым она обращается. Я не слишком обольщался и обманывался и прежде, при первом чтении этих писем. Посмертная же книга убеждает, что и худшие опасения, увы, оправдались. Сейчас письма Гиппиус представляются мне разновидностью «прелестных писем», которые распространялись в смутное время с целью обольстить и склонить к переходу на свою сторону противника. Гиппиус была убеждена, что своими письмами она «делала политику» так же, как «делала» ее в 17-м году, влияя на собеседников. Чем другим объяснить ту затрату времени и духовной энергии, которых потребовала даже от скоро пишущей З. Н. Гиппиус ее переписка с автором этих строк?

ПИСЬМА З. Н. ГИППИУС *

31 дек. 23. Париж.

Дорогой Марк Вениаминович,

Боюсь, что вы не расположены принести мне корректуру моей «Записи», между тем там есть фатальные описки! Например — о расцветшем *Моисеевом* жезле, когда я внезапно вспомнила, что с ним этого никогда не случалось, а расцвел *Ааронов!*

* За недостатком места мы вынуждены ограничиться опубликованием всего 13-ти писем З. Н. Гиппиус из сохранившихся у М. В. Вишняка 55-ти. Орфография и пунктуация авторские. Многоточием в уловых скобках помечено опущение оскорбительных слов (*Ред.*).

Нормальные люди будут упрекать меня в невежестве, а ненормальные, пожалуй, в антисемитизме: я не хочу ни того, ни другого.

Поэтому — нельзя ли мне все-таки корректуру?

Искренно ваша З. Гиппиус.

Благодарю за «Коня»¹, которого мы взнуздаем. Всего приятного к Новому Году: демократической республики, например... только, извините, без Керенского с его бабушкой и дедушкой.

¹ «Конь Вороной» Ропшина-Савинкова.

Дорогой Марк Вениаминович,

Посылаю вам очень загадочное письмо¹. Сколько лет живу, а такого не получала! Прочтите его до *последнего полуслова*. Не знаете ли, от кого оно (ведь и на конверте не указано). Меня страшно интересует окончание! Каково бы оно было?.. если б было?

Я не верю в очень большие способности Бунина и Арцыбашева к устройению демократической республики; но очень боюсь, чтобы автор прилагаемого письма, если начнет ее устраивать, не ограничился бы лишь вступлением... отложив окончание по таинственным причинам...

Ваша З. Гиппиус

3 янв. 24. Париж.

¹ Незаконченное письмо было отослано без подписи.

1/14 янв. 24. Париж.

По примеру Степуна, дорогой Марк Вениаминович, пошли теперь все «романы в письмах»: у нас с Милюковым уже было три (каждый раз с печальным концом), теперь, явно, с вами да параллельно с Илюшей...¹ К счастью, все эти романы и литературнее, и осмысленнее Степуновского, а потому и не для печати... Через сто лет — посмотрим...

Не для того, чтобы убедить вас (я заметила, что редкие люди сознаются в своих ошибках, даже если их видят), но лишь ревнуя о логике и здравом смысле, я хочу вам заметить следующее: если б я была влюблена и не могла бы вам назвать имя моего «предмета» — вы, конечно, могли бы назвать меня «беспредметной». Но почему я погибла, если найду ни с Гучковым, ни с Черновым, и откуда ваше торжество? Больше: я, действительно, не

могу идти даже с Милюковым, не говоря об Осоргине и Пешехонове с одной стороны, Шульгине и Струве с другой. Моя немецкая кровь приучила меня к точности, самоотчетности и мужеству. Я писала Илюше и бесстрашно повторяю вам: с тех пор, как эмиграция треснула на две части — я сознательно сижу в трещине. Очень неудобно сидеть там, да еще одной, но как быть? Ни очарование Кусковой со Степуном, ни таланты Бунина и Шульгина не заставят меня изменить «предмету» (в смысле моей «правды», а не в смысле человека). Илюша поощряет мое сидение, уверяя меня, «из этой трещины вырастет гора, которая спасет Россию». Я об этом не думаю, сижу просто, ибо не могу иначе... А в дальнейшем выяснилось, что Илюша сам сидит в трещине, только, ввиду разности наших биографий и крови, — он эту трещину сделал физической, прикрыл ее конкретностью Грасса²; я же сижу в ней неприкрыто, тем более, что это никому не вредит и никому неинтересно. Через сто лет — посмотрим...

Что касается Александра Феодоровича³, то я не скрываю, что ошибалась в нем — вплоть до июня 17 г. Очень стыжусь своих ошибок в людях, но хочу верить, что это не самые важные ошибки. Вот если б теперь, после всего, что я видела, после ночных бесед с Илюшей <...>, если б я теперь еще называла его «суженым февральской революции...» я бы, пожалуй, именно несчастной невесте-то этой изменила. Но...

Пожалуйста, не сердитесь, все, что я сказала — я сказала с лучшими чувствами к вам. Во имя справедливости, любви к точности и т. д. — прибавлю, что как только выяснилось (см. последнюю статью), что Арцыбашев не в трещине, а на одном из отломленных кусков, — я не считаю себя *с ним* и думаю, что он также неправ, как часто вы... с другой стороны.

Пожалуйста, не носите мне Маяковского, я и в руки его не возьму.

Всего хорошего для русского Нового Года.

З. Гиппиус

¹ Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков.

² Грасс на юге Франции, где Фондаминские проводили лето.

³ А. Ф. Керенский.

7 янв., 24. Париж

Дорогой Марк Вениаминович,

Я не могу изменить никакой своей «любви» уже потому, что, как я писала сто лет тому назад и как доселе печатается на от-

ривных календарях, — «я никогда не изменяю, любовь одна, как смерть одна...» Именно верность моя «февральской невесте» и заставляет меня известным образом относиться к г-ну Керенскому, при благосклонном участии которого этой «Невесте солдатский штык проткнул глаза». <...> Уж не досталось ли, кстати, и вашим глазам от этого солдатского штыка? Уж не оттого ли вы миנדальничаете с Черновыми, Осоргиными, флиртуете с Милюковым (профессиональным изменителем), не знаете твердо, надо или не надо «признавать» большевиков, и давно перестроили ваш лозунг на «в ожидании обретешь ты право свое»?

Впрочем, это все бесполезно. Я хотела поблагодарить вас за корректуру и заметить: вы никогда не снисходите до корректур стихов, — и *никогда* (мои, по крайней мере) не появлялись у вас без опечаток. А уж вы сами знаете, что такое опечатки в стихах. В общих, значит, интересах наших будет, если вы за корректурой последите внимательно.

При случае отдайте мне ваше замечательное письмо: буду хранить его, как символ с.-ровского рассеяния.

Сердечно ваша З. Гиппиус

Ллойд-Джорджу.
«Сэр, прошу вас, помогите,
«Напишите Джиолитте¹,
«Что пора кончать роман:
«Надоела. Мильеран».

23 Янв. 24.

Дорогой Марк Вениаминович, что это, как вы строги ко мне, да еще взыскиваете за письмо в «испанке» и уж сейчас-же грозите «концом» и всячески «опровергаете». Но повинную голову меч не сечет, а я винюся, ей-Богу винюся: я слишком хорошо знаю, что *моя* вина, если вы кое-что не так поняли: моя, ибо я плохо написала... Не поскучайте этими строками — постараюсь написать лучше (яснее).

Я и не принимала ваше «к нам» в смысле «партии». И когда Илюша писал: «к нам тебя не зову. Нужны и такие “непримиримые”, как ты», — вряд ли тоже говорил о партии. Говорил об оттенке «революционности» и «непримиримости» — у меня больше, чем в вашем лагере. Но помилуйте! Если вы лишь надеетесь (или надеялись), что я «рано или поздно *вернусь* к феверализму, демократии, республике, свободе и равенству»... то где-же вы мнили и мните меня *теперь*? Очевидно, с реакционерами, — вот когда это выяснилось. Ведь я «даже не зная — по-

вторяю Струве»... хоть убей Бог — если я понимаю, в чем я его повторяю; и если писала вам, что с. р. — старый режим, то, очевидно, в бессознательном состоянии... о чем жалею, ибо такие остроумия считаю низкого сорта.

Чтобы не спорить больше ни о чем — я вам в двух словах скажу, что исповедую для данного момента: разум, меру и центральность. Имею *пафос* меры и центра, в то время, как, например, пафос Милюкова, по его собственному слову, «лежит у него сейчас в борьбе с монархистами». Соединяются же люди именно в *пафосе*, хотя бы то и отрицали. У меня нет пафоса в борьбе с монархистами: я о них держусь вполне вашего мнения, весьма четко выраженного в вашей статье² (с которой я вообще вполне согласна и нахожу ее очень убедительной и интересной); самодержавие кончено *из себя*; монархизм России не опасен, ибо в ней невозможен; для «конституц.» монархии нет сейчас (да и вообще мало) исторических оснований, поэтому и монархисты (да еще какие жалкие) не опасны, и нечего над ними надрывать, тратя время. Еще цезаризм, пожалуй, возможен, но цезари сами вскакивают, с ними заранее не поборешься, да и зачем? Цезари не навек. Да, может, их и не будет... Гришкой Зиновьевым I кончится, новые данным цезарем — за исчезновением Ленина и Троцкого...

Я нахожу, что книга³ очень интересна, что вы со мной поступили очень благородно и либерально (пришла к этому, просмотрев свою статью). Даже в стихах опечатка только одна — «реки» вместо «тени». За этот либерализм я чувствую такую признательность (видите, сколь я справедлива!), что следующую «Запись» постараюсь совсем без спора вам дать.

Вот только вы лично очень строги ко мне в письмах и все «христианством» меня хотите уязвить. Есть христианство Макса Волошина: «Божий бич, приветствую тебя!» (о большевиках). Ну, так это не мое.

Сердечно ваша З. Гиппиус

Заметьте мою кровожадность: радуюсь, что сдох Ленин, и жалею, что поздно.

А где же обещанная литература?

¹ Джиолитти (Giolitti) — премьер Италии, занимавший «нейтральную» позицию в отношении к большевикам.

² «Падение русского абсолютизма».

³ 18-я книга «Совр. Записок».

20 Фев. 24

Дорогой Марк Вениаминович.

Поздравляю вас со званием поэта. Вижу, что около меня нельзя не писать стихи: Амалия, Ропшин, Вишняк... и сколько еще других!

Я в гриппе, а то бы раньше прислала статью. И так как поздно получила разрешение на «Коня» от вас и от Ил., то оставила его до последних страниц.

На этот раз

Чтоб вновь не стало небу жарко
От скучных покаяний Марка —
Писал я каждую строку
Во угожденье Вишняку.
Ну, и была, ей Богу, мука!
А если вышла только скука —
Скажу, ни мало ни смущен,
Что в ней виновен не Антон¹.

Жду de vos nouvelles *. Некогда писать больше. Если хотите, чтобы я что-нибудь выпустила, изменила, подписала, — скажите, будет выполнено, и без всякой остроты. Перец мы прибережем для след. раза, если вы найдете, что я «исправился». Тут-то и можно будет немного подпустить.

Да, не бойтесь размера, там куча выпусков и страницы сведены в одну.

Искренно ваша З. Гиппиус

¹ Антон Крайний — псевдоним З. Н. Гиппиус-критика.

* В ожидании новостей (фр.).

24-2-24. Париж.

*«Ах, лучше во время расстаться,
Чем до последнего ругаться!»*

Старинная песенка

Дорогой коллега!

Во-первых, я вижу, что ошиблась: вы — un poète fait¹, и мое влияние ни при чем. Вы уж давно, очевидно, принадлежите к известной «школе» — и не моей.

Во-вторых, поскольку я Пушкин, постольку есть у меня и Николай I, который сказал мне: «Я сам буду твоим цензором».

Поэтому пошлите, прошу вас, мою статью Илюше, пусть он скажет, есть-ли там утверждение, что «вся Россия — хам и вор». Если он скажет — я раздиру ризы и удалюсь в пустыню, а если скажет, что нет — я привлеку вас к суду... вашей совести.

Напоминаю вам, что появление моей Записи в след. книжке — столько же в моих, сколько в *ваших* интересах, по многим причинам, кои долго объяснять. Прибавлю, что вы можете предложить мне все поправки, которые могли бы вас успокоить.

И заключаю: вы неизлечимо страдаете персональным недоверием к А. Крайнему. Ничто не удовлетворит вас, сказанное его «черными» устами. С этим болезненным подозрением я готова считаться. Но в открытую. Идет?

Ваша З. Гиппиус

Илюше пишу о том же.

¹ Звание было заслужено рифмованными репликами в ответ на письма З. Н. Гиппиус. Одна из них была в ответ на эпитафию, взятый Гиппиус у Корнея Чуковского: «Не бойтесь этого звонка: — Я лишь Ка-Че, а не Че-Ка...». Она звучала:

О, нет, милейший мой А. К.
Не испугать вам Вишняка!

Другая была более пространна:

Святое звание поэта
Изъяло чувство пиетета
Ко всем великим именам,
Заслугам, полу и годам.
В своих оценках дерзновея,
Скажу ни мало не краснея,
Что в новой «Записи» Антон
Опять наносит нам урон.
И ни Есенин, ни Пильняк, —
Вас уверяет в том Вишняк, —
Не осужденье этих двух —
Смущает нашу совесть слух.
Смущает о б щ и й приговор,
Что вся Россия хам и вор,
Что вне Парижа света нет,
И так пребудет много лет.
Пока пишу лишь от себя
Открыто все, не лебезя,
А там — в течение недели —
Вопрос решим без канители.

20-2-25

Дорогой Марк Вениаминович.

Так как вы сказали, что вам, главное, чтонибудь да изменить у меня, а как — все равно, то не поставите ли заглавием моей статьи не «Жизнь молодая» (похоже на романс какой-то), а — «Новь»? Гораздо лучше; к стати же у меня и начинается прямо с Тургенева.

Я забыла отметить, что каждое стихотворенье требует отдельной страницы; но это вы, конечно, сделали сами.

Илюша в большом оптимизме относительно всего, а главное — С[овременных] З[аписок].

С полусоциалистическим приветом З. Гиппиус

Р. С. Объективно решала вопрос: почему вам Степуна исправлять в голову не приходит, даже напротив, тогда как я... Чем он, в литературе заслуженнее и лучше меня? Положим, жена Фофанова говорила: «уж мужчина всегда лучше...» Но ведь то жена Фофанова, а вы социалисты. Это разница.

Меня очень мучает мой долг, но, право, не нарочно; надеюсь, вы мне пришлете конец набора Любви при первой возможности.

2 мая 25. Париж.

Хорошо, давайте. С чего же мы начнем?

Да, оговорка: обращение — налево в углу, маленькое; специально для вас, т. к. вы еще не знаете, что иногда бывает «переписка», а иногда «диалог»: и в последнем случае — вообразите, что было-бы, если б разговаривающие каждую реплику начинали с «глубокоуважаемого такого-то» (и пауза). Даже генералы чувствуют, что было бы нехудожественно разговаривать так: Ваше превосходительство! сегодня недурная погода! — Ваше превосходительство! очень недурная. — Ваше превосходительство! а если пойдет дождь? — Ваше превосходительство! тогда мы намокнем... и т. д. Наша последняя переброска записками была именно «диалогом», чему доказательство, что я начала одну из них, именно ту, которую помню «без обращения», словом «тогда». Где же видано, чтоб *письмо* начиналось с «тогда»?

Значит ладно, давайте мириться. Je n'en demande pas mieux *. Беда в том, что я при моей объективности и терпении, ни с кем не ссорюсь, и только огорчаюсь, когда ссорятся со мной. Впрочем — нет: иногда я, в первую минуту, могу тоже рассердиться; но это продолжается до второй минуты. С ее наступлением я уже не «сержусь»: уступаю, если объективно не права; уступаю,

если я права, но противник мой недорос до объективности; не уступаю, когда дело не личное; но во всех случаях — остаюсь при — улыбке.

Так было сейчас, при получении, вместе с вашими, письма от Илюши, где он просит послать рукопись по той (кроме всех прочих) причине, что «элементарная вежливость требует, чтобы редакция показала эту статью раньше Бунину». Я рассердилась, потому что в совершенно аналогичном случае рецензия Шлецера *не была показана* Дм. С-чу; аналогия не полная только потому, что моя статья во-первых *не* о Бунине, который там лишь в конце, рядом с Гете и Деренном; во-вторых — она *не* критика художественная (что я подчеркиваю); в-третьих — это вовсе не критика, а лишь экспозиция точки зрения Вл. Соловьева, которую я никому не навязываю, только о ней рассказываю, и думаю, что этот рассказ может быть интересен; в-четвертых — это не рецензия, а *серьезная* статья, которая именно Бунину не может быть интересна, т. к. именно этими вещами он не занимается, заниматься не хочет (или не может).

Поэтому я и рассердилась. Но затем, с объективной точки зрения, рассудила: если редакция поняла, что в первый раз поступила против правил «элементарной вежливости» и теперь «дует на воду», то это она в процессе самовоспитания, и никто не виноват, что попались мы с Вл. Соловьевым, точку зрения которого, конечно, Ив. Ал.¹ пропустить не сможет. Как ни далеки его взгляды от взглядов редакции вообще, но и за Вл. С-ва редакция горой не стоит; вы, ведь, и сами, в лучшие ваши минуты, «полу-соловьевец»... Ну, а от запрещения Ив. А-м Соловьева ни он, ни я особенно не страдаем. В другом месте² расскажем, кому интересно. И я предоставила Илюше всю свободу действий на время нахождения рукописи у него.

Видите, как я покладиста. Из-за чего же со мной ссориться?

С самым приятным...

Искренно ваша...

Посылаю всех найденных «дочерей».

* Я многого не прошу (*фр.*).

¹ И. А. Бунин.

² «Другим местом» для статьи З. Гиппиус «Искусство и любовь» оказался сборник «Опыты» № 2, вышедший в Нью-Йорке под редакцией Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова в 1953 г. — через 10 лет после смерти автора.

4-9-26

Дорогой Марк Вениаминович.

Я не знаю, как мотивировал вам Илюша мой отказ. Но это не секрет: из желания сохранить остатки своего языка, стиля и возможности выражать прямо свои собственные мысли — я хочу дать себе передышку. А то я заметила, что когда пишу — думаю уже не столько о теме, сколько о вас, или еще о какомнибудь лице, которое властно мою мысль урезать. Это затрудняет работу, понижает ее качество (в моих-же собственных глазах), и вообще, войдя в привычку, может сделаться опасным.

Говорю это без тени какого-либо вам упрёка. У каждого писателя своя психология. Я прекрасно понимаю вашу. И мне только жаль, что никогда вы не хотели понять моей. Я это отношу исключительно к недостатку внимания к вашей покорной слуге. При малейшем внимании вы бы, конечно, увидели, что меня нужно взвесить (или подвергнуть цензуре) целиком; годится, или целиком не годится. Потому что я нахожусь в большом внутреннем *порядке*, и каждое мое слово, о чем бы ни было, исходит из него и ему соответствует. Сколько бы вы ни зачеркивали одни — останутся другие... (вот, чтобы эти другие от зачеркнутых не теряли смысла, мне и приходилось заранее гадать, изопрятаться, думать не о теме и не о читателе, а о вас). Именно внутренний мой порядок подлежит или принятию, или отвержению. Говорю не в смысле «соглашения» совпадения в «порядках», говорю очень узко: годится для вашего воза такая-то лошадь, со всеми *ее* четырьмя ногами, или нет. Годится — так дайте ей везти по ее фасону; не годятся передние ноги — так, значит, вся не годится, их не изменишь.

Я не анархистка, да и не так глупа, чтобы претендовать на какую-то «абсолютную» свободу. Как раз потому, что я понимаю «свободу» — я понимаю, что свободен лишь тот, кто ее, свою, ограничивает. Но *самоограничение* — одно, а сознание, что рядом стоящий имеет власть механически тебя ограничить — это другое. Но, конечно, для вас может быть еще вопрос, заслужила ли свободу до *самоограничения*? Этого вопроса вы и не можете решить, пока не удостоите большего внимания меня и мой внутренний «порядок». Я, например, давно уже решила его, чисто теоретически, относительно вас: если б мы поменялись ролями (вообразим на секунду!) я бы, конечно, представила вам полную свободу самоограничения. У вас тоже «порядок», не мой, но который я признаю. Впрочем, уверена (и это тоже дает повод к размышлению), что случись такая мена местами — вы

просто никак не стали бы писать в «моем» журнале, ни без свободы, ни со свободой.

Простите за эти отвлеченности. Ограничимся фактом моей усталости и желанием передышки. Я ни откуда не дезертирую, а лишь временно сдаю позиции, сделавшиеся для меня неудобными.

Кстати, и тема Шмидт¹-Сазонов², в той трактовке, которая пришлась бы вам по душе, — мне кажется не актуальной. Вот актуальная тема — «дела» Горького и весьма лакейское письмо берлинцев; но не бойтесь, я вам ее не предлагаю. Много воды утекло под мостами с тех пор, как вы, не «досмотрев» за мной, принялись перед Юшкевичем³ в Посл. Новостях; и хотя много этой воды попало на мою мельницу, а все-таки... лучше не трогать этого «чтимого всей Россией гения» — не правда-ли? К писателю должен быть «подход» литературный. Вот как Степун подошел к Святополку⁴ и к «Благонамеренному»⁵. А правда-ли, что вы Ходасевичу дали «свободу» насчет «Верст»? Положим, Ходасевичу вы более доверяете, он, по-вашему, более заслужил свободу, чем Ант. Крайний, но посмотрим, какой он выберет «подход».

Милоков мне позволил «человеческий», и за то спасибо.

Хочу верить, что вас ничто не затронет в этом моем, очень искреннем, письме. Мне было больно огорчать Илюшу, но я его старалась уверить, что без меня ваша очередная книжка ничего не потеряет, а будет, пожалуй, еще гармоничнее, для вас-же — без лишнего хлопот.

Крепко жму вашу руку, ДС. шлет искренний привет. Хорошо-ли отдохнули?

Ваша З. Гиппиус

¹ Лейтенант флота, казненный в Севастополе в 1906 г.

² Террорист, бросивший бомбу в министра внутренних дел Плеве.

³ Писатель: см. выше в статье М. Вишняка.

⁴ Кн. Д. С. Святополк-Мирский, литературовед и редактор «Верст».

⁵ Литературно-художественный журнал, издававшийся в Брюсселе кн. Шаховским до его пострижения в монашество.

27-2-31

Дорогой Марк Вениаминович.

Мне, как видите, достаточно было двух дней, чтобы прочесть вашу книгу¹ (и не «просмотреть», а прочесть, с карандашом). Не могу не сказать вам о ней двух-трех слов, и не хочу этого откладывать.

Я представляю себе, что никто лучше меня не сумел бы написать об этой книге; однако я, вероятно, не стала-бы писать о ней, даже если б имелось у меня для того место. Одно и то-же «потому что»: потому, что слишком ваша правда, и в главном, и в деталях, — моя-же правда. Слишком они совпадают, иной раз до удивления, до моей улыбки; и если б я принялась вашу книгу утверждать так, как только и могла-бы — мне стало-бы казаться, что это я с жаром утверждаю свое и себя. Я не желаю ни «осмысливать», ни «переосмысливать» это наше совпадение. Я просто констатирую факт, добросовестно проверенный. Я, перевертывая страницы, начала, признаться, уж искать чегонибудь, какогонибудь вашего (в моих глазах) срыва или срывика (помимо прочего — критик всегда так смотрит) — но вот: говорите ли вы о центральном в вашей книге — Февраль, Октябрь, или о самодержавии, или о Маклакове, о Милюкове, о Степуне и т. д., нигде не могла я найти слова и мысли, которые не были бы и моими о данном явлении. Доходит порою до мелочей, до одних и тех же цитат, хотя бы у Степуна, на которые мы оба обратили одинаковое внимание, и т. п.

Одно единственное место показалось мне у вас смутным, т. е. смутно выраженным. Вы говорите (о Феврале): «В жизни часты положения, для кот. благополучного исхода не дано». И далее: «Объективная безысходность положения... в начале, а потом уж явились субъективные ошибки, грехи и трагедии». Ошибка-же, говорите вы в другом месте, является иногда преступлением. (С чем и я давно согласна.) Но не в том дело. Я написала сбоку «фатализм», и как иначе, если исход был все равно предрешен? И зачем тогда говорить (тем менее судить) ошибки и грехи людей? Их «личная трагедия» остается, но и она была предрешена, исхода, ведь, не было? Через несколько страниц, вы однако, отмечаете «чрезмерный» фатализм Милюкова. Бывает ли фатализм (безысходность положения), может ли быть, то умеренным, то чрезмерным? Он или есть, или его нет. Опасно утверждать существование, да еще «частоту» положений безысходных, т. е. когда оба пути делаются «путями зла», сливаются как бы в один, и приходится покоряться неизбежному. Делать, волей-неволей, «ошибки»... в которых и каяться нечего, ибо кто виновен перед лицом Рока? Выбора, ведь не было...

Может быть, к этому-же относится и слово наше, что при «выступлении» Корнилова Вр. Прав. «вынуждено» было опереться на большевиков. Вы несколько обходите объяснения, почему «вынуждено», оставляя возможность поместить это вы-

нуждение в порядок Рока, где уж нет свободы человеческим действиям (и нет, следовательно, за них ответа).

В вашей книге много умолчаний, — о них вы предупреждаете в предисловии. Я, по правде сказать, не знаю, имели-ли вы на них право, или нет. Если принять во внимание некоторые ваши-же слова (такие верные!) о необходимости смотреть в прошлое, помнить себя в нем и сознательно относиться к собственным ошибкам, если взять факт ваших судов (таких сугубо верных!) над чужими, — то, пожалуй, права на определенные умолчания вы не имели. Но, с другой стороны, я понимаю, — как и вы, — что всякий захват этой стороны в данное время опасен, трудно справиться и найти меру, когда начинает пахнуть субъективизмом. Таким образом, возможно, что ваша книга, с какой-то точки зрения, от умолчаний выигрывает.

Я, во всяком случае, радуюсь ей такой, как она есть. В расширенном виде — кто знает! — совпадение наших «правд» и не было бы, пожалуй, таким полным. Конечно, разногласия все-таки были-бы частными, главное осталось-бы. Но я (простите мой субъективизм!) не могу не быть довольной, что существует книга, где от первой до последней строчки все рассматриваемые явления рассматриваются как бы под моим-же углом зрения. Мне это тем ценнее, что книга написана человеком, совершенно иного общего склада, иной, в известных областях, идеологии: а в данной области гораздо больших, чем мои, знаний и опыта. Это — личная сторона отношения к книге (ее внутренняя полезность для меня и т. д.). Но — ведь каждый верит в объективность того, что считает правдой; а потому я вашу книгу утверждаю и *объективно*.

Возвратимся, впрочем, на минуту к субъективному и психологии. Написав все эти строки о моей правде, как отнеслась я к вашей книге и к нашим совпадениям, — я вдруг вспомнила, что у вас-то была всегда, — по отношению ко мне, во всяком случае, — совершенно другая психология, и для меня непонятная. Вы, как будто, относитесь к «правде» так: если, положим, лягушка ее проквела, то она уж не «правда». Будто-бы «что» не важнее, в первую голову, и «кто», и даже «как»? Это два, — кто и как — важны тоже, но потом. «Что» (правда) остается, все-таки, правдой. Лягушка может быть сама плоха, голос может не нравиться; если она скверно и лживо сама к своему кваканью относится — ее можно убить, но все это последующее и особый суд над ней; проквеканная-же правда таковой остается.

Это я говорю насчет общего отношения вашего ко мне (не личного) и, в частности, к «Синей Книге». Я понимаю негодова-

ние Милюкова (и еще отчетливее поняла после вашего очерка). Я поняла бы и Маклакова, если б <...> способен был на негодование и стал-бы серьезно с «дамой» разговаривать. Но ваше — честное слово, не понимаю. Допустим, я сказала плохо, неумело, наивно: это не моя специальность. Но ведь сказано-то совсем то же, что вы говорите (по существу), и я не вижу, на что могли бы вы возразить. Или и вы, подсознательно, тоже не разговариваете серьезно с «дамой»? Или... последнее предположение: разгадка в некоторых моих «неумолчаниях». Но — знаете? как от лягушки правда не перестает быть правдой, так не судится она и тем, хорошо-ли отнеслась лягушка «ко мне». Даже если неверно, но верно к «моему» (к моей правде) — и то лягушке прощается... в известном плане.

Но это — попутно и, хотя как будто личной психологии касается — ничего личного я сюда не замешиваю, а просто наблюдаю.

Пора кончить. Кончу я тем, чем начала: написали вы книгу, в которой, по-моему, всякая страница — правда, что есть редчайший случай; (о «случае», однако спорно: есть-ли он?). Жаль, что такая книга — одна, а несчастных соблазнительей, путаников с комичной антиэстетикой языка и выкрутасов, вроде Степуна, и других, вами пригретых в С. З. — куча.

Не последняя драгоценность в книге — ваша настоящая, ясная, «непримиримость».

Спасибо, крепко жму вашу руку. З. Гиппиус

¹ «Два Пути — Февраль и Октябрь». Париж 1931 г.

3 Марта 31

О! О! Два места в вашем письме, дорогой Марк Вениаминович, столь изумили меня, даже поразили, что я поняла: надо дать два ответа, но отнюдь не полемических, в другом порядке. Одну вещь надо проверить, и, если вы окажетесь правы, признать свою «безответственность» или что еще похуже (это было-бы нелегко мне и по стечению обстоятельств, сегодня особенно нелегко... Скажу потом отчего).

Относительно другого — надо поразмышлять, как ухитриться найти слова наиболее точные и ясные, такие, чтобы мысли мои стали вам понятны. Приемлемы или неприемлемы для вас — второй вопрос, независимый.

Начну с узкого, наиболее личного, с «камня», который вы «затаили». У меня было ощущение, что камень этот грозит мне (если же так, проверка была необходима для меня самой).

Я откомандировала Злобина¹ в наши недра, найти все мои старые статьи в «Совр. Зап.». Статей этих оказалось такое количество, что я чуть не целый день их читала! Находила много любопытного (между прочим — и о Степуне, и цитаты, с вашими совпадающие), но долго ничего не видела, кроме «сдержанно деловитого» Вишняка, его «обычной честности» и т. д. Наконец — набрела на «Камень»: фельетон, который вам посылаю (с просьбой возврата) и с очень небольшими комментариями. Подчеркнутое красным и синим карандашом — и этого было-бы достаточно. Как вы видите — я дважды повторяю, что не касаюсь спора «по существу», а лишь с точки зрения «внешней логики». Если как я думаю, вы любите логику, как я, — вы не станете отрицать, что мои рассуждения не вне ее находятся. А почему на вашем споре с М.² я тогда очень остановилась — это имеет свои объяснения. Центр не в Милюкове (я его не читала), центр был в вас и — еще точнее — в ваших умолчаниях. Ваши «да», ваша правда, как была моей, так и осталась, т. е. тогда была той же моей, как и теперь. Я не помню тогдашнего моего к вам письма; но не сомневаюсь, что оно было (*неразборчиво*). И слава Богу, не сомневаюсь, (*неразборчиво*) внутреннее право и написать его, и написать о вас, о (*неразборчиво*) умолчаний ваших (только) что (*неразборчиво*). Ниже к этим умолчаниям еще вернусь (более принципиально), а здесь добавлю еще следующее: данная тема и «умолчания» особенно больно и остро стояли тогда передо мной — это был момент (вижу и по дате), когда я только что получила, через американцев, рукопись Дневника, в первый раз, не веря своим глазам и в полусумасшествии (чему Амалия³ свидетельница) перечла его. В фельетоне даже есть, как вы увидите, отдаленный намек на это, на «запись не — политика», «сырой материал» и т. д. Мне тогда особенно казалось, что наш общий долг говорить *всю* правду, не щадя никого ради нее и в первую голову не щадя себя, конечно.

Я не так, ведь, глупа, чтобы не сознавать, что, печатая Дневник, я не слишком много окажу себе пощады, все же это останавливало меня в продолжении известного времени, и все-таки сомнения (*неразборчиво*). Я пыталась найти совет у Илюши, но ему некогда было прочесть рукопись. Я написала было Керенскому, но не отправила письмо. Я даже думала о Милюкове (раньше получения, положим). ДС. читал Дневник. Только уже в книге. Таким образом мне пришлось решать дело самой, на свою совесть, ничего не подделаешь. Должна-ли я в решении этом перед нею каяться, я еще не знаю. Знаю одно: что для *себя*

ничего, кроме проигрыша, не ожидала, на него сознательно шла и этим, в известной мере, оправдана (перед собой).

Вот тут мы и подошли к второму пункту — к «верности». Вы говорите: «верность в политике». А я говорю: верность везде. Вы говорите: «верность правде и людям». А я говорю: верность правде сначала, а *в ней* верность людям. Ради верности человеку *нельзя* допустить измену правде. Такие положения бывают, такие выходы предносятся. Я приведу грубый пример, очень грубый. Азеф был уже обличен, и Савинков, по его словам, «все еще любил его как брата». Но и Савинков, в конце концов, перестал быть ему верен, да и нужно-ли было верным ему «пребыть» до конца?

Возьмите этот острый пример в других, легких оттенках — пример не меняется. Если вы увидите, что человек изменяет правде не внутренне, а по каким-либо причинам: слабости, недомыслию, страху, усталости и т. п. — внешне, в поступках и действиях, — вы этого не скажете? Умолчите? Этим вы в какой-то мере свою верность человеку поставите выше верности правде.

В конце концов, и вы, я думаю, не решитесь сказать, что для вас, между каким-нибудь близким человеком, Керенским, Илюшей, даже всей партией эсеров, и объективной правдой стоит знак равенства. Потому что я думаю, что для вас вот это условное понятие «правды» значит то же, что для меня. Со всякой стороны, в всякой частности взятая, она одна, и если ей изменить — можно перестать существовать. Она в самом человеке; в нем может расти (и тем, только тем изменяться). Даже должна расти...

Милюков — совсем другое. И опять кажется мне — насчет М. мы с вами кое в чем согласны. И потому так поразили меня некоторые строки вашего письма — почти дословное повторение, и по тому же поводу, слов Милюкова.

Это было прошлой весной. Обвиняя меня за Синюю Книгу (ожидаемый камень), он, главным образом, упирал на то, что я — «сожгла то, чему поклонялась». Смысл был ясен. Я хотела ответить мирно (я к нему, ведь, отношусь, как к нему, очень... благоволительно), но в процессе письма все-таки немножко рассердилась и напрасно: ведь он не мог бы доказать, по Книге, что я такое то и сжигаю, чему поклонялась, — чему поклонилась что сжигала в Самодержавии (*неразборчиво*). Милюков-то, может быть, и не понимает, может быть разумел сжигание Керенского, поклонение Савинкову, ведь он не разбирается. Впрочем, когда мы с ним теперь встретились, он уже о сжиганиях не говорил, а о том, что у меня там неверно и несправедливо, так как

я далеко стояла, а видеть и знать настоящее положение дел, и судить о нем могут только «участники» (ср. хотя с его словами, которые вы приводите!).

Не надо обманываться. Наше с вами схождение в общем — верно, дало бы много расхождений в частных линиях, если бы вы их продолжили, стали чертить определенно. Например, вашу боязнь «правизны», выражающуюся, главным образом, в боязни правых, я бы не поместила в те моменты времени, в какие помещали и помещаете их вы. Неужели, например (есть и другие примеры, и даже сейчас), вы серьезно и до сих пор, думаете, что после Февраля (*неразборчиво*) эти правые сейчас же и привезли бы опять царя? Или вы сами в этот момент только боялись «показаться» правым. Кому?

Ну, в это последнее я просто не верю.

Впрочем, довольно. Я старалась быть ясной, сколько могла. А почему я так испугалась сегодня «камня» и начала «разведку» — это благодаря тому, что лишь вчера так сурово, при всех, судили Адамовича⁴ (кот. я очень люблю). Его статья о Мил. в Посл. Нов. — какой-то добровольный «социальный заказ». Важно то, что *он так не думает*, я это знаю наверно. Есть предел угодливости, измены своей правде (правда, ведь, всех областей касается). Есть ответственность, наконец!

Видите-ли вы «Утвержденья»?⁵ Что скажете? Думаю, что и я. Обратите, однако, внимание на «пореволюционного» младенца Баранецкого. Мы видали его Вавилонскую башню. (*Неразборчиво*).

Ваша З. Гиппиус

¹ В. А. Злобин, секретарь З. Н. Гиппиус (Ред.).

² П. Н. Милюков.

³ А. О. Фондаминская.

⁴ Г. В. Адамович.

⁵ Сборник евразийцев.

Дорогой Марк Вениаминович,

Относительно статьи Ил. мне вчера тоже написал. Хорошо. Может быть, выйдет скорее заметка, но не беда.

Относительно Син. Книги не будем дальше спорить. М. б. вы и правы, — следовало, кое где больше выкинуть, чем я выкинула. О людях. Вот только что я *очень* прошу вас заметить: 1) дело шло, — и речь — не о людях, как таковых, но о людях *по отношению к России* в данный головокружительный момент.

Она, а не они были центральным предметом. И затем, менее важное, 2) что вы называете сменой «идолов» или «воплощений правды». Это, прежде всего, не может быть точными выражениями, если люди рассматриваются не как таковые, а скорее в смысле «личной годности» или непригодности в данный момент для данного, важного, подлежащего дела. Затем, (*неразборчиво*) всем в частности: вы, говоря, что я сменила «старого друга на (*неразборчиво*)», забываете, что именно Савинков-то был мой друг гораздо более старый, даже давний друг, нежели Керенский. Это, повторяю, не важно, если смотришь на человека именно по эт(*неразборчиво*) его к чему-то высшему, и судишь не его, а отношение. (*Неразборчиво*) покажется ли что комунибудь «изменой», а не(*неразборчиво*) в Варшаве, перед тем, чтобы тому-же С-ву не сказать «(*неразборчиво*) вы-ли это? Я вас не узнаю!» На что он мне, бледнея, ответил: «(*неразборчиво*) вы меня никогда “в работе” не видали. Оттого и не знаете». Был он, м. б., прав. И я, ведь, часто верю *человеку*, обманываясь. Кто не обманывался? Но мы в Варшаве разошлись, и бесповоротно. У меня много записей о Сав. и Варшаве; я их не печатаю — опять не из-за себя (и этому, мол, изменила!) но... не знаю, отчего; б. м. из-за Фил.¹, «еще так ужасно инкрустированного в этого оборотня», писала я в 22 году. М. б. оттого, что он погиб (хотя вы знаете, что я «не простила»). Во всяком случае, это молчание в вашей линии, неправда-ли?

Два слова относительно Илюши. Да, вы правы, это все его «пригрев»; и я *так-же* не сочувствую тут ему, как вы, я абсолютно на вашей стороне. Но об «изменах», да еще личных, в параллели с моей, будто, Керенскому, здесь не приходится говорить; это все почти в другом порядке, ибо и время, и все вообще — другое. Я Илюшу люблю, и ничего такого не может с ним случиться, чтобы это переменилось. Но я спорю с ним, и если б нужно было, пришлось, — публично, не отказалась-бы.

Ну вот, теперь, кажется, и все. Кстати, Ил. в очевидной радости от Утверждений², — спрашивает меня о них. Как это жаль!

Крепко жму вашу руку, привет и *сочувствие* от ДС. (Передаю по его просьбе.)

Ваша З. Гиппиус

¹ Д. В. Философов.

² Евразийский сборник.

